

П.В. Басинский

Максим Горький (1868–1936)

Предисловие	1
Жизнь и книги	2
«Человек из народа»?	5
«На дне»	12
«Среда» и «Знание»	14
«Мать»	16
Тема России	17
Революция и эмиграция	21
Конец Горького	21

Предисловие

Максим Горький оставил нам загадку своей личности. Его художественное значение оказалось несколько преувеличенным в начале XX века, когда популярность писателя в России неожиданно сравнялась со славой Чехова и Толстого, которых он сам считал своими учителями. Тиражи изданий Горького в начале 1900-х годов были по понятиям того времени неслыханными и выражались сотнями тысяч экземпляров.

Все искали его дружбы. Солидные общественные деятели и известнейшие литераторы Владимир Галактионович Короленко, Николай Константинович Михайловский, Анатолий Федорович Кони, Павел Николаевич Милюков, Петр Бернгардович Струве и др. устроили в 1899 году в Петербурге банкет в честь молодого писателя из провинции. Его узнавали на улицах. Толпы людей осаждали вагоны поезда во время его путешествий. В провинциальных городах время от времени появлялись личности, подражавшие внешности и поведению Горького: это были его двойники, которых часто путали с настоящим писателем.

За границей его чествовали Стефан Цвейг, Ромен Роллан, Марк Твен... Итальянские извозчики знали его в лицо и гордились тем, что из европейских стран он больше всего полюбил Италию. Когда после революции, находясь в эмиграции, Иван Бунин выступил со статьей, где подверг раннее творчество Горького жесткой, но в чем-то справедливой критике, его выступление вызвало сенсацию, так велико было влияние Горького в Европе.

Отчего это происходило? Почему пьеса «На дне», поставленная в Московском Художественном театре Константином Сергеевичем Станиславским, пользовалась невероятным успехом, а «Чайка» Чехова, впоследствии ставшая символом этого театра, в первой постановке провалилась? Едва ли можно исчерпывающе ответить на эти вопросы. Видимо, объяснение этому найдем не только в творчестве Горького, но и в том особом положении, которое он занял в мире благодаря каким-то неординарным свойствам своей личности.

С самого начала вокруг Горького возникло мощное психологическое поле, которое притягивало громадное множество людей — и знаменитых, и никому не известных. И сами события русской жизни начала XX века, казалось, бурлили вокруг этого человека, подчиняясь его влиянию.

Личность Горького не оставила равнодушными современников. Лев Толстой, этот мудрый старик, покоровший своим талантом и умом целый мир, в поздних дневниках пытался мучительно разобраться в феномене Горького. Александр Блок, великий поэт России, незадолго до смерти много и «тяжело» думал о Горьком (признание в дневнике

поэта). Евгений Замятин всерьез считал, что в Горьком было «два человека». Дмитрий Мережковский и Корней Чуковский тоже полагали, что у Горького «две души».

Историк Лев Николаевич Гумилев предложил такое определение исторических личностей: «пассионарии» (от франц. «passion» — страсть). Горький был «пассионарием», то есть такой личностью, которая излучала вокруг себя мощное энергическое поле, непосредственно влиявшее на судьбы мира.

В старости он стал внешне походить на немецкого философа-радикала Фридриха Ницше. Это можно легко проверить, если положить рядом их портреты. Советская писательница Ольга Форш писала о Горьком в 1928 году:

«Он сейчас очень похож на Ницше. И не только своими пугающими усами, а более прочно. Может, каким-то внутренним родством, наложившим на их облики общую печать...»

Известно, что Горький был страстным поклонником Человека. Не каких-либо конкретных людей, но Человека в историческом и метафизическом смысле слова. В 1904 году он написал поэму «Человек», в которой попытался сделать невозможное: изобразить все человечество в одной символической фигуре. Поэма получилась слабой. Над ней посмеивался Чехов, ее критиковал Короленко. Но все-таки замысел ее впечатляет! Так и в самом Горьком было немало странного. Но завораживают замысел и масштаб этого человека, родившегося в деревянном доме в Нижнем Новгороде, ставшего одним из самых знаменитых писателей XX века и окончившего жизнь в несчастной роли вождя «социалистического реализма» и заложника сталинского режима. Личность Горького символизирует собой целую эпоху русской и мировой жизни. А это, согласитесь, немало!

Жизнь и книги

Ранняя биография Горького замечательно описана в его автобиографической трилогии «Детство» (1914), «В людях» (1916), «Мои университеты» (1923).

Максим Горький (настоящие имя и фамилия Алексей Максимович Пешков) родился 16 (28) марта 1868 года в Нижнем Новгороде. Кто бывал в этом старинном городе на слиянии двух великих русских рек, Оки и Волги, тот мог почувствовать атмосферу, в которой формировалась личность будущего писателя. Широта речных просторов и заливных заволжских лугов сочеталась здесь с размахом деятельности русского купечества — экономической основы благосостояния России второй половины XIX века. И не только экономической. Факты и цифры неоспоримо свидетельствуют о том, что накануне Первой мировой войны Россия переживала экономический и культурный расцвет. Это была страна, не только способная накормить себя, но и ведущий мировой экспортер зерна. Это была страна, в которой развивалась промышленность, организуемая выходцами из русского купеческого сословия.

Размах деятельности Морозовых, Дягилевых, Мамонтовых, Рябушинских, Рукавишниковых и других, как правило, принадлежавших к старообрядческим семьям со своим строгим религиозным укладом и твердыми нравственными принципами, поражает воображение не меньше, чем стремительный расцвет американского капитализма в лице знаменитых семейств Фордов, Морганов, Рокфеллеров... Русские купцы были людьми высочайшей образованности (заканчивали университеты, знали европейские языки) и нравственной культуры. Из недр этой среды вышли писатель Владимир Набоков и культурный организатор Сергей Дягилев, к купеческой фамилии принадлежал и вождь русских символистов Валерий Брюсов. Их деньги шли не только на приумножение капитала, но и на развитие образования, здравоохранения, культурные начинания, благотворительность.

Отец Горького, Максим Савватиевич Пешков, — мастер-краснодеревщик, сын офицера николаевской армии, разжалованного в солдаты за грубое обращение с подчиненными. Так же бывший николаевский офицер тиранил и своего сына, который

в конце концов сбежал от него. В 1870 году Максим Пешков дослужился до управляющего пароходной конторой в Астрахани, но вскоре умер от холеры, заразившись от маленького Алексея.

Мать Горького Варвара Васильевна Каширина — из мещан. Рано овдовев, она вторично вышла замуж, но вскоре умерла от скоротечной чахотки. Детство будущего писателя прошло в доме деда по материнской линии Василия Васильевича Каширина. В молодости дед бурлачил, потом разбогател, стал владельцем красильного заведения, но в старости разорился. Он обучал мальчика по церковным книгам, а бабушка Акулина Ивановна приобщила к народным песням и сказкам, но самое главное — заменила мать, «насытив крепкой силой для трудной жизни...» («Детство»).

Горький не получил серьезного образования, закончив лишь ремесленное училище Кунавинской слободы Нижнего Новгорода. В Казанский университет, как мечталось, не поступил. Рано вспыхнувшую жажду знаний утолял самостоятельно: он принадлежал к классическому типу русских «самоучек». Тяжелая работа (посудник на пароходе, «мальчик» в магазине, ученик в чертежной и иконописной мастерских, десятник на ярмарочных постройках, статист театра) преподавала хорошее знание жизни и внушила мечты о переустройстве мира на иных, добрых и разумных, основаниях. «Мы в мир пришли, чтобы не соглашаться...» — сохранившийся фрагмент из уничтоженной ранней поэмы Горького «Песнь старого дуба», с которой он однажды явился на суд к В.Г. Короленко и получил от него мягкий, но отрицательный отзыв, смысл которого был примерно следующий: «Если бы вы, молодой человек, были барышней, я бы сказал вам: “Недурно, милая, но лучше — выходите замуж...”» Этот ответ задел самолюбие начинающего писателя, но и заставил его строже относиться к своему творчеству. В дальнейшем именно Короленко помог ему опубликовать в самом популярном в то время литературном журнале «Русское богатство» рассказ «Челкаш» (1895), в котором уже чувствовалась рука молодого мастера.

В декабре 1887 года в Казани юный Алексей Пешков пытался покончить с собой. В рассказе «Случай из жизни Макара» (1912) он дал такое объяснение своему поступку:

«Уходя все глубже в даль своих мечтаний, Макар долго не ощущал, как вокруг него постепенно образуется холодная пустота. Книжное, незаметно заслоняя жизнь, постепенно становилось мерилем его отношений к людям и как бы попирало в нем чувство единства со средою, в которой он жил, а вместе с тем, как таяло это чувство, таяли выносливость и бодрость, насыщавшие Макара...»

Выходец из рабочих, Макар — идеалист и рыцарь идеи. Люди, как они есть, не устраивают его. Он хочет послужить «великому делу обновления». Но это желание, оказываясь, имеет другую сторону. «Выламываясь» из родной среды, Макар как бы обретает в себе Человека, но вместе с тем теряет «ощущение равенства с людьми, среди которых он жил и работал...» Он попадает в страшный социальный вакуум. Все лучшее, что он воспитал в себе ради людей, оказалось ненужным людям. Рождаясь как независимая личность, он неожиданным образом приходит к идее погибнуть физически. Борьба с «материей жизни», говоря словами А. Платонова, приводит к мысли о смерти.

Все это было и в судьбе молодого Горького. Объяснение причин несовершенства мира он искал и в жизни, и в книгах. В жизни занимает активную позицию: принимает участие в революционной пропаганде, вместе с революционером-народником Ромасем идет «в народ», странствует по Руси, двигаясь с массой крестьянства с севера на юг, общается с босяками.

Только за один 1891 год он обошел Поволжье, Дон, Украину, Крым, Кавказ. Побывал в Казани и Царицыне, Ростове-на-Дону, Харькове, Курске, Воронеже, Полтаве, Киеве. В селе Кандыбове Николаевского уезда за попытку спасти от публичного наказания миром деревенскую женщину был избит мужиками. После николаевской больницы направился в Одессу. Горький путешествует по Бессарабии, затем попадает в Херсон, Симферополь, Севастополь, Ялту, Алупку, Керчь, Тамань. В Майкопе был арестован как

«проходящий». Затем Беслан, Терская область, Мухет и Тифлис. Работает на добыче соли, грузчиком, в мастерской.

И все это — за один год!

Неудивительно, что ранние рассказы Горького поразили российскую читающую публику своими яркими характерами, стремительными сюжетами, невероятной плотностью описываемых событий, что выделяло их не только на общем фоне скучноватой русской беллетристики конца XIX века, но и на фоне гениальной, однако «сумеречной» прозы Антона Павловича Чехова. С прозой молодого Горького в русскую литературу ворвалась неизвестная Россия — Россия странных людей, живущих под открытым небом, ночующих возле костров, философствующих о жизни не в душных кабинетах, но в поле, в лесу, на берегах рек. От этой философии веяло дыханием подлинной жизни, а не умозрительных схем.

Первый опубликованный рассказ Горького появился в малоизвестной тифлисской газете «Кавказ» в 1892 году. Это был «Макар Чудра», и начинался он размышлениями старого и мудрого цыгана о жизни:

«Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и давят друг друга, а места на земле вон сколько... И все работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь: вот он по капле с потом силы свои источит на землю, а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ничего по нем не останется, ничего он не видит с своего поля и умирает, как родится, — дураком...»

Поразительно, однако, что эти мысли человека, скорее всего не прочитавшего в своей жизни ни одной книги, почти буквально совпадали с идеями Фридриха Ницше в его сложнейшей философской работе «Несвоевременные размышления»:

«Все мучаются из-за того, чтобы жалко продлить жалкую жизнь; эта ужасная потребность ведет к изнурительному труду... Но для того, чтобы труд мог требовать себе почетных титулов, необходимо прежде всего, чтобы само существование, для которого он является мучительным средством, имело бы больше ценности и достоинства...»

Не менее сложным и извилистым был читательский опыт Горького. В молодом возрасте он испытал на себе различные философские влияния: от французского Просвещения и материализма Гёте до позитивизма Жана-Мари Гюйо, романтизма Джона Рескина и пессимизма Артура Шопенгауэра. В его нижегородской библиотеке 1890-х годов рядом с «Историческими письмами» Петра Лаврова и первым томом «Капитала» Карла Маркса стояли книги Эдуарда Гартмана, Макса Штирнера и Ницше.

Его страсть к философскому чтению нельзя объяснить только любознательностью. Поистине «горький» опыт детской и юношеской жизни заставлял искать более глубокие корни страданий человека, чем те, что лежали на поверхности жизни. Пожалуй, как никто из русских писателей, Горький очень рано столкнулся с несовершенством человеческой природы в самом низменном смысле. Жестокость, грубость, невежество и прочие «прелести» провинциального быта отравили душу будущего писателя, но и парадоксальным образом породили в нем великую веру в Человека и его потенциальные возможности. «Сшибка» этих двух противоречащих начал и создала тот особый дух романтической философии Горького, где Человек (идеальная сущность) не только не совпадал с человеком (реальным существом), но и вступал с ним в трагический и неразрешимый конфликт. «В наши дни ужасно много людей, только нет человека», — вот формула молодого Горького, заявленная в одном из его писем. Это фраза напоминает рассказ об античном философе-кинике Диогене Синопском, который среди бела дня бродил с фонарем в руках и говорил: «Ищу человека».

В 1926 году в письме к С.Т. Григорьеву Горький высказал поразительную мысль:

«Мне кажется, что даже и не через сто лет, а гораздо скорей жизнь будет несравненно трагичнее той, коя терзает нас теперь. Она будет трагичной потому, что — как всегда это бывает вслед за катастрофами социальными — люди, уставшие от оскорбительных толчков извне, обязаны и принуждены будут взглянуть в свой внутренний мир, задуматься — еще раз — о цели и смысле бытия».

Но раннее творчество Горького ценно для нас именно тем, что оно провозглашало величие Человека вопреки мрачным жизненным обстоятельствам. В атмосфере русского безвременья и скуки раздался бодрый голос Максима Горького. Этот голос вселял надежду:

«Человек! Точно солнце рождается в груди моей, и в ярком свете его медленно шествует — вперед! и — выше! трагически прекрасный Человек!»

Согласно Горькому, Человек является не «сосудом греха», но Вселенной, которая не нуждается в оправдании извне. Человек — это все! «Он создал даже Бога», — писал Горький Илье Репину 23 ноября 1899 года.

«Человек из народа»?

В 1898 году в петербургском издательстве Дороватовского и Чарушникова вышли двумя выпусками «Очерки и рассказы» М. Горького, которые принесли автору сенсационный успех. С того времени слава писателя росла с невероятной стремительностью. В 1903 году было продано в общей сложности 102 930 экземпляров его сочинений и отдельно: 15 246 экземпляров пьесы «Мещане» и 75 073 экземпляра пьесы «На дне».

Однако внешняя легкость этого успеха была обманчивой. Слава Горького явилась итогом нескольких лет тяжелых лишений, странствий, одиночества и душевных кризисов, каторжного журналистского труда в провинции и весьма непростых вначале отношений с редакторами и издателями. Но читатели и критика заметили прежде всего романтическую сторону его судьбы и придали ей решающее значение.

И вот выходец из народа и чуть ли не босяк, не имеющий даже гимназического образования, ворвался в русскую литературу и совершил в ней переоценку ценностей, нарушив прежние представления о литературном авторитете. В XIX веке родовое имя человека, как правило, ценилось больше его литературного имени. Так, Афанасий Фет, антипод Горького по стилю жизненного поведения, страдал от незаконности своего рождения, добивался возвращения родовой фамилии Шеншин и ненавидел свое поэтическое имя, напоминавшее о его немецком происхождении.

На рубеже веков мы наблюдаем нечто обратное. Борис Николаевич Бугаев страдал от своей роли «профессорского сынка» и придумал себе звучный псевдоним Андрей Белый. До этого и позже появилось много подобных «говорящих» имен: Горький, Скиталец, Демьян Бедный, Саша Черный и др. В 1890-е годы в интеллектуальной жизни России побеждает самосознание, названное Андреем Белым вслед за Фридрихом Ницше «волей к переоценке». Традиционные социальные связи ветшали, а новые возникали с трудом в условиях застывшей политической системы. Паралич Русской православной церкви, которая в силу своего государственного положения в послепетровскую эпоху не могла полноценно участвовать в новых общественных и интеллектуальных течениях, сопровождался стремительным ростом атеизма, особенно среди интеллигенции, к началу века ставшей по преимуществу атеистической.

Россия ожидала взрывов, потрясений, катастроф, которые бы мгновенно развеяли предгрозовое затишье 80–90-х годов. В этой атмосфере все яркое, кричащее, неизведанное вызывало повышенный интерес. Так было с философией Ницше. То же случилось и с прозой Горького.

«В девяностых годах Россия, — писал впоследствии критик-эмигрант Георгий Адамович, — изнывала от “безвременья”, от тишины и покоя... — и в это затишье, полное “грозовых” предчувствий, Горький со своими соколами и буревестниками ворвался, как желанный гость. Что нес он с собою? Никто в точности этого не знал, — да и до того ли было? Не все ли, казалось, равно, смешано ли его доморощенное Ницшеанство с анархизмом или с марксизмом: тогда эти оттенки не имели решающего значения. Был, с одной стороны, “гнет”, с другой — все, что стремилось его уничтожить, с одной стороны “произвол”, с другой — все, что с ним боролось. Не всегда разделение проводилось по линии политической — чаще оно шло

по извилистой черте, отделяющей всякий свет от всякого мрака. Все талантливое, свежее, новое зачислялось в “светлый” лагерь, и Горький был принят в нем как вождь и застрельщик...»

Чем поражали современников ранние романтические произведения Горького? Почему они так безотказно, пользуясь определением Толстого, «заражали» читателей? В громадном успехе, который принесли писателю «Очерки и рассказы», роман «Фома Гордеев» (1899) и пьеса «На дне» (1902), словно был некий элемент чуда, не поддающегося рациональному объяснению и, очевидно, связанного с особенностью эпохи.

С самого начала обозначилось серьезное расхождение между тем, что писала о Горьком критика, и тем, что хотел видеть в нем рядовой читатель. Традиционный принцип толкования произведений с точки зрения заключенного в них социального смысла применительно к раннему Горькому не срабатывал. Читателя меньше всего интересовал смысл горьковских вещей. Он искал и находил в них прежде всего настроение, созвучное времени.

Критика пыталась найти в произведениях Горького социально-психологические типы («лишний человек», «кающийся дворянин»), а находила колоритные и жизненные фигуры, которые, впрочем, не всегда отвечали за собственные слова и поступки. Не только критиков, но и, например, Л. Толстого, с которым Горький познакомился, еще будучи неизвестным писателем («настоящий человек из народа», — записал о нем Толстой в своем дневнике), возмущал и коробил факт, что молодой автор заставляет своих героев изъясняться не свойственным им языком. При этом непонятно было: чей именно это язык?

«...Все мужики говорят у вас очень умно, — заметил Толстой Горькому. — В жизни они говорят глупо, несурзано, — не сразу поймешь, что он хочет сказать. Это делается нарочно, — под глупостью слов у них всегда спрятано желание дать выговориться другому. Хороший мужик никогда сразу не покажет своего ума, это ему невыгодно... А у вас — все нараспашку, и в каждом рассказе какой-то вселенский собор умников. И все афоризмами говорят, это тоже неверно, — афоризм русскому языку не сроден...»

В то же время Толстой высоко оценил образы босяков, считая, что молодому писателю удалось познакомить образованную публику с несчастным положением «бывших людей». До сих пор принято думать, что Горький был одним из первых изобразителей босячества, что Коновалов, Челкаш, Кувалда, Шахро и другие — те самые босяки, или «золоторотцы», которые наводнили Россию в период распада социальных связей, разложения крестьянских общин, миграции населения и проч.

Так ли это?

Горький, оказывается, не был первым изобразителем босячества. До него были Г. Успенский, А. Левитов, В. Слепцов, Ф. Решетников. В 1885 появился рассказ В. Короленко «Соколинец», названный Чеховым «самым выдающимся произведением последнего времени». В начале века вышли также научно-популярные исследования Анатолия Александровича Бахтиярова (1851–1916) «Босяки» (1903) и «Отпетые люди» (1903).

Бахтиярова меньше всего волновала «философия» босячества. Он изучал босяка только как социальный тип. Итоги, к которым пришел Бахтияров, решительно отличались от художественных выводов Горького. По мнению Бахтиярова, основной движущей силой босячества является поиск пропитания, что и определяет социум этих людей, еще более жесткий и тиранический, чем нормальное цивилизованное общество.

«Все босяки группируются на партии или шайки, в каждой шайке — свой вождь, имеющий на них огромное влияние. Шайка состоит человек из пяти, восьми и более. Группировки босяков в маленькие артели вызваны необходимостью. Продовольствие целою шайкой обходится сравнительно гораздо дешевле, чем в одиночку. Например, в чайном заведении босяки заказывают порцию чая на всю партию, человек восемь. Кипятку сколько хочешь, так что чаепитие обходится босяку, по разверстке, по 1 копейке с человека и даже дешевле».

Босяки вовсе не однородны, и это также связано с добычей пропитания. Среди них встречаются «рецидивисты», «мазурики», «стрелки» и даже такой экзотический тип, как

«интеллигентный нищий». Соответственно, они делятся на группы, «в масть, как говорится, для большей безопасности в отношении воровства, пьянства и т. д.».

Объединяются они также по сословному принципу: бывшие мещане, бывшие мастеровые, бывшие дворяне. Такая сортировка производилась в ночлежках смотрителем. Забота о пропитании создавала в среде босяков особые «социальные отношения», особые «законы», за нарушение которых виновный строго наказывался «обществом». Таким образом, у босяка не оставалось ни сил, ни времени на собственное «я» или на выяснение своего положения в мире, чем бесконечно занимаются герои Горького. Положение в мире босяка определялось тем, каким способом он добывал кусок хлеба: скажем, воровал, попрошайничал или рылся на помойке.

Все это имело мало общего с горьковским типом босяка. Очевидно, социальный облик босячества меньше всего интересовал раннего Горького, хотя по опыту он был знаком с ним не хуже и даже, наверное, лучше Бахтиярова. Но его художественное зрение было особенным. Он искал в среде босячества не социальные типы, а новое настроение, романтическую философию. Появившись в литературе, Горький спутал критике ее карты. Он подменил проблему художественной типизации проблемой «идейного лиризма», по точному определению критика М. Протопопова. Его герои напоминали кентавров, так как несли в себе, с одной стороны, типически верные черты, за которыми стояло хорошее знание жизни и литературной традиции; а с другой — произвольные черты и особого рода «философию», которой автор наделял героев по собственному усмотрению. В конце концов молодой писатель своими текстами заставил критиков решать не проблемы текущей жизни и ее отражения в данном художественном зеркале, но непосредственно «вопрос о Горьком» и том идейно-психологическом типе, который благодаря ему вошел в интеллектуальную жизнь России рубежа XIX–XX веков.

Знаменательное столкновение М. Горького с русской критикой в лице главного редактора «Русского богатства» Н. Михайловского произошло в 1895 году. Безусловно, роль последнего, как и Короленко, в литературном становлении молодого писателя велика. По существу, они впервые открыли его широкому читателю, напечатав в «Русском богатстве» рассказ «Челкаш». Оценка Михайловского, высказанная в письме к молодому автору, была в целом благожелательной. Рассказ появился в начале журнальной книжки, что придавало публикации дополнительный вес. Все это необыкновенно «подняло самочувствие» автора, как он сам выразился в ответном письме к Михайловскому.

Но в то же время главного редактора смутил абстрактный идейный смысл рассказа. Он писал, что рассказ «местами очень растянут», «страдает отвлеченностью», и посоветовал показать его Короленко, чтобы сделать вместе с ним редактуру, а именно: указать, из какой губернии Гаврила и где он научился так хорошо работать веслами (что невозможно для выходца из степной губернии), изменить язык Гаврилы, чтобы он не так напоминал язык Челкаша, который «может говорить о “свободе” и прочем почти таким же языком, как и мы с Вами говорим», и т. п. Иначе, признавался Михайловский, «Гаврилу я себе представить не могу, не психологию его — она понятна, а как бытовую фигуру».

Горький подверг рассказ незначительной редактуре, главным образом по части сокращения текста. Почти все конкретные советы Михайловского он оставил без внимания. Был ли это жест сознательного несогласия с редакторской волей — трудно сказать. Во всяком случае, если представить себе рассказ в исправленном виде, можно догадаться, что редактура «по-Михайловскому» не повредила бы рассказу, но и не была бы для него принципиальной. В дальнейшем Горький старался быть точнее в отношении бытовых фактов и нередко сам называл себя «писателем-бытовиком».

А пока Михайловский не принял другой рассказ Горького — «Ошибка». Мотивы, по которым он это сделал, объяснил молодому автору Короленко, хорошо знавший взгляды и принципы редактора «Русского богатства»:

«Если Вы читали Михайловского “Мучительный талант” (статья в «Отечественных записках» 1882 года в действительности называлась “Жестокий талант”), то знаете, что он даже Достоевскому не мог простить «мучительности» его образов, не всегда оправдываемой логической и психологической необходимостью. У Вас есть в данном рассказе тот же элемент. Вы берете человека, начинающего сходить с ума, и помещаете его с человеком, уже сумасшедшим. Коллизия, отсюда вытекающая, представляется совершенно исключительной, поучение непропорционально мучительности урока, а образы и действие — толпятся в таком ужасном психологическом закоулке, в который не всякий решится заглянуть...»

Однако есть основания думать, что Михайловского смутила не только «мучительная» форма рассказа (восхитившая скорее не к Достоевскому, а к Гаршину), но его идейное содержание. Едва ли ему могли понравиться слова Ярославцева: «Это сильно (...), и потому оно морально и хорошо», — явно выпадающие из традиционных представлений о нравственности. Он не мог принять и другие афоризмы персонажа, например: «Причина современного шатания мысли — в оскудении идеализма». Или такую странную мысль: «Кто знает, может быть, высшая истина не только не выгодна, но и прямо-таки вредна нам?»

Редактора «Русского богатства», уже начавшего борьбу с декадентами, не могли также не смутить слова: «Декаденты — тонкие люди. Тонкие и острые, как иглы, — они глубоко вонзаются в неизвестное...» Особенно было странно, что все эти речи говорил провинциальный учитель и статистик, вдобавок сошедший с ума. Действительно, это делало рассказ «мучительным». Но в то же время отсутствие социальной и психологической мотивировки лишь подчеркивало смысл этих слов. Если сам Ярославцев не мог отвечать за свои мысли, то кому они принадлежали? Чужие в устах безумного учителя, эти слова приобретали особое значение и становились просто афоризмами. Этот прием вообще характерен для раннего Горького, который ставил философские проблемы, не всегда согласуясь с жизненной логикой и элементарной бытовой правдой.

В конце концов Михайловский приписал слова героя самому Горькому. В этом его убедило еще и то, что в 4-м издании очерков и рассказов автор исключил из «Ошибки» нищепанское уравнение: «сильно = морально и хорошо». «Очевидно, — писал Михайловский, — уравнение представляло хотя отчасти собственную мысль автора, от которой он ныне отказался».

Горький вошел в литературу, когда в разгаре была борьба народников и марксистов и началась борьба народников и декадентов. В том же году, когда появился «Макар Чудра» (1892), Д. Мережковский напечатал статью «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», направленную против эстетических идеалов народничества. В 1896 году во главе журнала «Северный вестник» оказался А. Волынский, автор книги «Русские критики» (1896), в которой анализировались взгляды шестидесятников. Вместе с первыми символистами (Мережковским, Гиппиус и Брюсовым) Волынский привлек к сотрудничеству и Горького, напечатав рассказы «Озорник», «Мальва» и «Варенька Олесова».

Причины, по которым Горький согласился печататься в «Северном вестнике», понятны из его писем к Волынскому. Здесь и денежные трудности, и недовольство отказом Михайловского опубликовать «Ошибку» (ее сам автор считал «порядочным» рассказом), и нормальное желание молодого писателя быть напечатанным в столичном журнале. Но здесь и принципиальное несогласие Горького со взглядами либерального народничества, и особого рода «идеализм» как попытка если не преодолеть мрачные условия жизни, то хотя бы вырваться в мечтах за серый круг действительности.

«Я ругаюсь, — писал он Волынскому, — когда при мне смеются над тихим и печальным стоном человека, заявляющего, что он хочет “того, чего нет на свете”... Кстати, — скажите Гиппиус, что я очень люблю ее странные стихи...»

В 1890-е годы отношение Горького к разного рода общественным и эстетическим течениям еще не определилось. Об этом он прямо написал Репину:

«Я вижу, что никуда не принадлежу пока, ни к одной из наших “партий”. Рад этому, ибо — это свобода. А человеку очень нужна свобода, и в свободе думать по-своему он нуждается более, чем в свободе передвижения».

Таким же неясным было отношение писателя к вечным вопросам.

«Нищие где-то сказал: “Все писатели всегда лакеи какой-нибудь морали”, — писал он А. П. Чехову. — Стриндберг — не лакей. Я — лакей и служу у барыни, которой не верю, не уважаю ее. Да и знаю ли я ее? Пожалуй — нет. Очень тяжело и грустно мне, Антон Павлович».

Судя по творчеству Августа Стриндберга, которым Горький увлекался в то время, можно понять, что под «моралью» он понимал не просто обывательские законы, позволявшие обитателям железнодорожной станции «скуки ради» издеваться над запоздалой любовью Арины («Скуки ради»), но сущностные категории, в которых пытался мучительно разобраться. Он даже пытался объяснить это своей жене Е. Пешковой:

«У меня, Катя, есть своя правда, совершенно отличная от той, которая принята в жизни, и мне много придется страдать за мою правду, потому что ее не скоро поймут и долго будут издеваться надо мною...»

Что это за правда? Из этих слов ничего понять нельзя. Мотивируя в письме к издателю свой отказ написать предисловие к «Очеркам и рассказам», Горький признавался:

«Пробовал, знаете, но все выходит так, точно я кому-то кулаки показываю и на бой вызываю. А то — как будто я согрешил и слезно каюсь».

Но нагляднее всего странность позиции Горького обнаружилась в его рассуждениях о «людях» и «человеках». В письмах к Л. Толстому, И. Репину, Ф. Батюшкову он сложил гимн во славу Человека. Однако в других письмах, написанных в то же время, мы встретим много своенравных, даже жестоких отзывов о людях, — и это позволяет думать, что гуманизм писателя вовсе не был «гуманного» происхождения. Так, он писал Е. Пешковой в 1899 году о каких-то барышнях, которые «ухаживали» за ним в Ялте и надеялись получить автограф или что-то вроде:

«Господи! Сколько на земле всякой сволочи, совершенно не нужной никому, совершенно ни на что не способной, тупой, скучающей от пустоты своей, жадной на все новое, глупо жадной».

Зная, что Чехова связывали с А. Сувориным непростые личные отношения, он тем не менее писал Антону Павловичу:

«Мне, знаете, все больше жаль старика — он, кажется, совершенно растерялся... Наверное, Вам больно за него — но простите! Может, это и жестоко — оставьте его, если можете. Оставьте его самому себе — Вам беречь себя надо. Это все-таки — гнилое дерево, чем можете Вы помочь ему? »

Впервые посетив Петербург и познакомившись со столичной интеллигенцией, он отозвался о ней так:

«Лучше б мне не видеть всю эту сволочь, всех этих жалких, маленьких людей, которым популярность в обществе нужна более, чем сама литература».

С кем же он встречался в Петербурге осенью 1899 года? Вот только несколько имен: В. Короленко, Н. Михайловский, И. Анненский, П. Струве, П. Милюков, А. Кони, В. Протопопов, Н. Ге, М. Туган-Барановский. Словом, цвет русской интеллигенции, радушно встретившей молодого писателя!

Горький рано стал понимать, что сохранить свое лицо в обществе «самородку» чрезвычайно сложно. По меткому замечанию критика и публициста М. Меньшикова, Горький был «всем нужен».

«Для всех лагерей, как правдивый художник, г. Горький служит иллюстратором их теорий; он всем нужен, все зовут его в свидетели, как человека, видевшего предмет спора — народ, и все ступени его упадка».

В этой ситуации он часто действует «от противного», ведет себя вызывающе, надеясь хотя бы так сохранить свое Я.

В воспоминаниях А. Н. Тихонова есть эпизод о посещении Горьким одной из студенческих марксистских вечеринок. К Горькому подбежала студентка с просьбой выступить в прениях.

«Горький взглянул на нее с любопытством:

— Извините, я не адвокат, выступать не умею...

— Это необходимо! Я должна сказать прямо, честно, в лицо... Ваша позиция кажется нам сомнительной... Вы должны объясниться... прямо, честно, в лицо...

— Кому это «вам»? — спросил Горький с усталостью человека, которому надоело, а приходится опять сердиться.

— Нам? Студенчеству, стоящему на определенной платформе.

— На платформе возят бревна».

Некоторые из современников отмечали в поведении молодого Горького грубоватость. Одни называли это недостатком, как, например, А. Волынский, который после премьеры «На дне» делился своими впечатлениями с К. Станиславским:

«У Горького нет того нежного, благородного сердца, поющего и плачущего, как у Чехова. Оно у него грубовато, как бы недостаточно мистично, не погружено в какую-то благодать».

Другие видели в этом проявление недюжинной цельной натуры, явившейся из народных низов и разрушающей обычные представления о писателе (сравните реакцию Толстого на первое посещение Горького: «Настоящий человек из народа»).

Интерес к личности Горького в широких слоях общества был невероятно велик. Между тем он весьма скупко сообщал сведения о себе в печать. Его первые словесные портреты вроде заметки Д. Городецкого в еженедельнике «Семья» мало чем дополняли его фотографии и рисовали все тот же расхожий образ «человека из народа». Городецкий писал:

«Видно, что если этот человек много потрудился горбом, то не меньше поработал и головой. Если он много перенес и перестрадал, то многое понял и простил».

Читатель должен был узнавать о биографии Горького из его «босяцких» рассказов, нередко путая автора и его героев. В результате его биография становилась фактом творчества, частью романтической легенды. Было ли это сознательное литературное поведение, для нас не имеет существенного значения. Важно, что на рубеже веков было как бы два Горьких. Первый — живой писатель и человек с очень сложной судьбой и не вполне ясным мировоззрением, который в письме к жене мог воскликнуть: «Сколько во мне противоречий — боже мой!» Второй — мифическая личность, особый символ эпохи, рожденный в читательском воображении.

Горький однажды признался, что его биография мешала правильному представлению о нем. О происхождении Горького публике было известно, что он «вышел из народа» и долгое время жил с босьями. Между тем именно спор о народе, его прошлом, настоящем и будущем к концу XIX века достиг апогея и нуждался в «третьем суде». Сила традиции была так велика, что Мережковский в статье «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», впервые объявляя о принципах символизма, тоже обращался «к народному мнению»:

«Не нам жалеть народ. Скорее мы должны себя пожалеть. Чтобы самим не погибнуть в отвлеченности, в пустоте, в холоде, в безверии, мы должны беречь кровную связь с источником всякой силы и всякой веры — с народом».

Потому не случайно, что такие разные, самостоятельно мыслящие люди, как Н. Михайловский, В. Короленко, Л. Толстой, единодушно пожелали увидеть в молодом Горьком «настоящего человека из народа». Они именно хотели этого, надеясь найти в талантливом самородке весомый аргумент в пользу собственных взглядов. Толстой, например, всерьез сердился и ревновал Горького, если тот не отвечал его априорным представлениям о «писателе из народа».

Михайловский, высоко оценив молодое дарование, в статьях тактично старался спасти его от «острых игл декадентства», которые «в действительности не только не тонки и не остры, а, напротив, очень грубы и тупы». Ему, как и Толстому, особенно понравился рассказ Горького «Ярмарка в Голтве» — традиционное, художественно-нейтральное произведение.

Еще более интересна история взаимоотношений Горького и Короленко. Романтическая манера раннего Горького, несомненно, импонировала автору «Огоньков», хотя он и упрекал своего ученика за излишний романтизм. Но и Короленко растерялся, прочитав в сборнике «Знания» рассказ «Человек», где самый пламенный романтизм сочетался с ледяной абстрактностью в изображении Человека. В космическом образе, лишенном «человеческих, слишком человеческих» черт, Короленко не сумел найти ничего «гуманного» и заподозрил Горького в высокомерии и индивидуализме. И опять ничем иным, кроме влияния Ницше, объяснить этого не смог.

Легко догадаться, что в «ницшеанстве» раннего Горького часто видели влияние «извне». В глазах литературных и общественных авторитетов Горький просто обязан был быть именно «самородком», а значит, «чистым листом», на котором можно написать и хорошее, и дурное. По мнению Толстого, Короленко, Михайловского, Ницше оказал на него «дурное» влияние. Вслед за Михайловским этот тезис подхватила часть русской критики, считавшая ницшеанство Горького искусственным, наносным явлением, искажавшим народные источники его таланта. Насколько такой взгляд был устойчивым, можно судить по словам Б. Пастернака, что молодой Горький был «нашпигован» идеями Ницше. «Нашпигован», то есть искусственно начинен.

Сегодня мы знаем, что Горький был знаком с творчеством Ницше прежде выхода первого русского перевода «Так говорил Заратустра» (1898). В конце 1880-х — начале 1890-х годов он водил знакомство с супругами Н. З. и З. В. Васильевыми, которые едва ли не первыми перевели «Заратустру» на русский язык. З. Васильева вспоминала:

«Из литературных их (Горького и Васильева) интересов этого времени помню большую любовь к Флоберу, которого знали почти всего. Почему-то, вероятно, за его безбожность — не было перевода «Искушения св. Антония», и меня заставили переводить его, так же как впоследствии Also sprach Zarathustra (Заратустра) Ницше, что я и делала — наверное, неуклюже и долгое время посылала Алексею Максимовичу в письмах на тонкой бумаге мельчайшим почерком».

Свою дружбу с Николаем Захаровичем Васильевым, химиком и философом-любителем, Горький описал в очерке «О вреде философии», намекнув на то, что Васильев оказал на него какое-то влияние. Сам Васильев погиб в начале 1900-х, отравившись химическим реактивом собственного изобретения.

В 1906 году, впервые оказавшись за границей, Горький получил письменное приглашение сестры философа, Елизаветы Фёрстер-Ницше:

«Веймар. 12 мая 1906 г.

Милостивый государь!

Мне приходилось слышать от ван де Вельде и гр. Кесслера, что Вы уважаете и цените моего брата и хотели бы посетить последнее местожительство покойного. Позвольте Вам сказать, что и Вы и Ваша супруга для меня исключительно желанные гости, я от души радуюсь принять Вас, о которых слышала восторженные отзывы от своих друзей, в архиве Ницше, и познакомиться с Вами лично.

На днях мне придется уехать, но к 17 марта я вернусь.

Прошу принять и передать также Вашей супруге мой искренний привет.

Ваша Е. Ферстер-Ницше».

Ответ Горького, составленный по-немецки М. Андреевой, но подписанный автором по-русски, не заставил себя ждать. Он хранится в Германии в Архиве Гете и Шиллера, а копия является одним из самых почетных экспонатов музея Ницше в Веймаре. В России

этот документ опубликован в 1996 году К. Азадовским в «Литературной газете» (в русском переводе):

«Высокочитимая госпожа!

Не может быть на свете мыслящего человека — или он не художник, — если он не умеет любить и чтить Вашего брата!

Я был бы чрезвычайно рад, милостивая государыня, посетить Ваш дом, но это для меня никак невозможно, поскольку я должен — по серьезной причине — уехать далеко, в Америку.

Я хочу надеяться, что однажды, когда я вернусь, Вы позволите мне навестить Вас.

Моя жена от души благодарит Вас за любезное приглашение и низко Вам кланяется, я же — целую дорогую для меня руку сестры Ницше.

М. Горький

17 м(арта) 1906 г(ода)».

Каким образом социалиста, социал-демократа Горького, в то время уже вступившего в партию большевиков, могли с таким почетом приглашать в дом человека, в общем, презиравшего социалистов? И хотя сам Архив Ницше Горький так и не смог посетить (20 марта он уже покинул Германию), однако в Берлине он встречался с лидером группы «Новый Веймар» графом Гарри Кесслером (1868–1937), дипломатом, писателем, коллекционером и едва ли не самым главным после Фёрстер-Ницше человеком в Архиве Ницше. Судя по письму гр. Кесслера Гуго фон Гофмансталю, встреча эта произвела на Кесслера огромное впечатление, и можно не сомневаться, что одной из главных тем их разговора был Фридрих Ницше.

Томас Манн так определил место Горького в мировой литературе: ему удалось возвести «мост между Ницше и социализмом». В начале XX века социализм и ницшеанство еще не враждуют, но часто идут рука об руку. Недаром в это время о ницшеанстве Горького (и как раз под знаком плюс!) писала марксистская критика. Например, А. Луначарский:

«...Презрительная жестокость к вялым и тряпичным отбросам процесса общественной ломки, к счастью, присуща Горькому... “Бог свободных людей — правда”, – говорит Горький устами одного из своих героев... Однако мы не согласимся с ним. Нет! У свободного человека нет богов... Судя по многим тирадам Луки в драме “На дне”, Горькому грозила опасность впасть в “мягкость”... Слава Богу, что этого не случилось и что “жестокость” взяла в нем верх. Побольше, побольше жестокости нужно людям завтрашнего дня...»

«На дне»

В пьесе «На дне» возникает спор между Сатиным, бунтарем и крайним человеко-поклонником, и Лукой, пытающимся примирить «человеческое» и «божественное». Интересно, что в глазах автора всякое подобное примирение есть ложь, однако в какой-то мере допустимая и для обреченного человека, вроде больной Анны, даже спасительная. Черты Луки некоторые современники находили в самом Горьком. Порой в тяжелых ситуациях он предпочитал не говорить людям всей правды, но не потому, что сам боялся ее, а потому, что верил в спасительный, «вдохновляющий» обман, который подвигнет людей к каким-то действиям во имя собственного спасения. Не случайно в пьесе «На дне» Актер читает стихи Беранже в переводе русского поэта В. Курочкина:

Господа! Если к правде святой
Мир дорогу найти не умеет, —
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!

«Сквозь русское освободительное движение, – писал о Горьком Владислав Ходасевич, – а потом сквозь революцию он прошел возбудителем и укрепителем мечты, Лукою, лукавым странником».

При всей своей категоричности это заявление подтверждается поздним признанием самого Горького в письме Е. Кусковой 1929 года: «Я искреннейше и непоколебимо нена-

вижу правду...» Что это значит? Только то, что в это время Горький предпочитал молчать о становившихся все более явными для него недостатках социалистической системы, рассматривая социализм как «сон золотой» человечества. На философском языке это называется утопией.

Тем не менее, заставив Луку в разгар конфликта исчезнуть со сцены, автор устраняет преграды на пути к последней правде, которые нагромождает Лука. Это правда об одиночестве Человека во Вселенной.

«На дне» не бытовая пьеса, а драма идей. Это своеобразный карнавал «масок», на котором сошлись не просто босяки, но «бывшие люди» в символическом смысле этого слова. Автор изображает пустоту, куда постепенно падает человечество, находя последнее пристанище «на дне» жизни, где не все еще «слиняло» и «прогнило» и где человек пока не совсем «голый». Он еще прикрыт «лохмотьями» (прежних смыслов, понятий) и держится за них с большим страхом.

Каждый персонаж напоминает, выражаясь по Ницше, «шута Божьего» и носит какую-нибудь «маску». Он пытается спрятать свою внутреннюю пустоту за воспоминаниями прошлого. До поры до времени это удастся. Важная деталь: внутри ночлежного дома не так мрачно, холодно и тревожно, как снаружи. Вот описание внешнего мира в начале третьего акта:

«Пустырь — засоренное разным хламом и заросшее бурьяном дворовое место. В глубине его — высокий кирпичный брандмауэр. Он закрывает небо... Вечер, заходит солнце, освещая брандмауэр красноватым светом».

На дворе весна, сошел снег... «Холодище собачий...» — говорит, поеживаясь, Клещ, входя из сеней. В финале на этом пустыре повесится Актер. А внутри все-таки тепло, и здесь живут люди. Сюда заходит на огонек странник Лука и хотя бы ненадолго согревает обитателей ночлежки своими утешениями. Внутри теплее, но это — зыбкое ощущение уюта. Очень скоро все должны понять, как непрочен этот уют.

Недаром многие персонажи носят не имена, а клички. Спившегося провинциального актера по имени Сверчков-Заволжский (явно пародийное имя) зовут просто Актер. Разорившегося дворянина — просто Барон. Впрочем, социальное прошлое Барона весьма сомнительно, напоминает пародию на мещанское представление о «благородной» породе людей XVIII–XIX веков: «Старая фамилия... времен Екатерины... дворяне... вояки!.. выходцы из Франции... Служили, поднимались все выше... При Николае первом дед мой, Густав Дебиль... занимал высокий пост... Богатство... сотни крепостных... лошади... повара...» — монотонно говорит Барон, будто вспоминает забытый урок. Такое прошлое слишком типично, чтобы в него поверить. В нем есть что-то мертвое: это бездушный слепок с биографий старого екатерининского дворянства. Не исключено, что Барон просто придумал или вычитал свое прошлое; что на самом деле он был не барином, а, допустим, лакеем или чем-то вроде.

Красивой сказкой в стиле «жесточкого романа» (опять же пародийного) звучит история Насти: «Вот приходит он ночью в сад, в беседку, как мы уговорились... а уж я его давно жду и дрожу от страха и горя. Он тоже дрожит весь и — белый, как мел, а в руках у него леворверт...» «Ты думаешь — это правда? — говорит Барон. — Это все из книжки “Роковая любовь”».

Но сам Барон боится потерять свою «маску». «Я, брат, боюсь... иногда, — признается он Сатину. — Понимаешь? Трушу... Потому — что же дальше?» Вместе с Бароном «трусят» и Актер, и Татарин, и Клещ. Для них потерять «маску» — это примерно то же, что для больной Анны потерять жизнь. Подобно ей, все задают себе роковой вопрос: «А что же дальше?»

До тех пор, пока есть прошлое, есть и видимость человека. Актер остается актером, Татарин — татарин, Барон — бароном. До тех пор они лишены необходимости выяснять свою подлинную сущность. Но и это уплывает из жизни, как из рук Клеща

уплывает его рабочий инструмент, его единственное достояние, примета его личности. «Нет пристанища... ничего нет! — понимает Клещ. — Один человек... один, весь тут...»

В пьесе параллельно развиваются два действия. Первое мы видим на сцене. Детективная история с заговором, побегом, убийством, самоубийством и проч. Второе — это обнажение «масок» и выявление сущности Человека. Это заложено в подтекст и требует расшифровки. Вот важный диалог Барона и Луки:

Барон. Жили и лучше... да! Я... бывало... проснусь утром и, лежа в постели, кофе пью... кофе! — со сливками... да!

Лука. А все — люди! Как ни притворяйся, как ни вихляйся, а человеком родился, человеком и помрешь...»

Но быть «просто человеком» Барон боится. И «просто человека» Луку не признает:

Барон. Ты, старик, кто такой?.. Откуда ты явился?

Лука. Я-то?

Барон. Странник?

Лука. Все мы на земле странники... Говорят, — слышал я, — что и земля-то наша в небе странница».

Кульминация второго (скрытого) действия наступает, когда встречаются Лука и Сатин. Традиционно их принято считать враждебными персонажами, но это не совсем верно. Лука жалеет человека и тешит его мечтой. Он обещает Анне загробную жизнь, выслушивает сказки Насти, посылает Актера в лечебницу. Сам по себе Лука с его искренней «ложью» даже симпатичен Сатину:

«Дубье... молчать о старике!.. Старик — не шарлатан!.. Он врал... но — это из жалости к вам, черт вас возьми!»

И все-таки «ложь» Луки его не устраивает:

«Ложь — религия рабов и хозяев! Правда — бог свободного человека!», «Человек — вот правда! Что такое человек?.. Это не ты, не я, не они... нет! — это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет... в одном! (Очерчивает пальцем в воздухе фигуру человека.) Понимаешь? Это — огромно! В этом — все начала и концы... Все — в человеке, все — для человека!»

Но здесь проявляется крайне запутанное отношение Горького к вопросу о правде и лжи. По существу, он выделяет две правды: «правду-истину» и «правду-мечту». Они не только не имеют необходимой связи, но изначально враждебны. Грандиозный миф о Человеке, который предлагает Сатин (очертив изображение Человека в пустоте, что очень важно), рождается на фоне духовной пустоты всего человечества. Никто не понимает друг друга; все заняты только собой; и мир на пороге катастрофы. Таким образом, Сатин тоже лжет. Но его ложь, в отличие от Луки, имеет идеальное обоснование не в прошлом и настоящем, а в будущем — в перспективе соборного человечества, когда люди сольются воедино и преобразуют жизнь на разумных началах. Впрочем, никаких гарантий, что это произойдет, Сатин не предлагает.

«Среда» и «Знание»

В автобиографии И. Бунин вспоминал о ситуации в литературе до революции 1905 года:

«За это время я был, между прочим, ближайшим участником известного литературного кружка «Среда», душой которого был Н.Д. Телешов, а постоянными посетителями — Горький, Андреев, Куприн и т. д.».

В конце 1890-х годов в Москве стараниями писателя Н. Телешова, автора повестей «На тройках» (1895) и «За Урал» (1897), возник небольшой кружок литераторов, художников и музыкантов с названием «Парнас». Собирались на квартире Телешова, обменивались новостями, читали свои сочинения. В 1899 году решили придать этим встречам регулярный характер; и так возникло объединение писателей под названием «Среда». Каждую неделю по средам собирался круг тех, кто составлял основу нового

реализма: И. Бунин, А. Куприн, Л. Андреев, А. Серафимович, С. Найденов, Е. Чириков, В. Вересаев, С. Скиталец и другие. Иногда бывал здесь и Чехов. Из Петербурга порой наезжал Горький со своим знаменитым другом, певцом и актером Ф. Шаляпиным. Со временем приходили новые, молодые члены объединения; так Леонид Андреев привел в «Среду» никому еще не известного прозаика Бориса Зайцева.

Идея «Среды» чрезвычайно нравилась Горькому. По воспоминаниям Телешова, он как-то сказал:

«Как хорошо вы это устроили и живете, как и надлежит писателям, по-товарищески. Чем ближе будем друг к другу, тем трудней нас обидеть. А обижать писателей теперь охотников много...»

Сам Горький в конце 1900 года становится членом другого «товарищества» — юридического. Его принимают одним из соучредителей «Товарищества «Знание», специализировавшегося на выпуске научно-популярной литературы, которая в начале века пользовалась огромным спросом и приносила немалый доход. В «Знание» входили известные книжные и журнальные издатели того времени — В. Поссе, О. Попова, В. Чарнолуцкий, К. Пятницкий и др. Прием в него молодого Горького, еще не имевшего издательского опыта, но уже прославившегося как писатель, было началом радикальных перемен в «Знании». Начались они с того, что... большая часть издателей покинула товарищество.

Им показалась нереальной горьковская идея издавать молодых писателей-реалистов, тех самых, что составляли круг «Среды». С переходом издательства в руки Горького оно почти целиком переключилось на беллетристику и выиграло не только в плане литературном, но и коммерческом. Горький и оставшийся в «Знании» К. Пятницкий задали издательству по тем временам невиданные темпы. Каждый месяц выходило около 20 книг общим тиражом свыше 200 000 экземпляров. Со «Знанием» не могли соперничать такие крупнейшие издатели, как А. Суворин, А. Маркс, М. Вольф.

В первые годы нового века «Знание» выпустило массовыми тиражами отдельные тома сочинений Андреева, Бунина, Горького, Куприна, Гусева-Оренбургского, Серафимовича, Телешова, Чирикова и др. Книги стремительно раскупались, требовались дополнительные тиражи. Демократическое издательство вскоре стало одним из самых престижных; напечататься в нем означало иметь стопроцентный успех. Таким образом, Горький добился прорыва нового реализма к широкому читателю.

Очень важно, что во главе издательства стоял не расчетливый коммерсант, а «свой брат-писатель». Он по себе знал все тяготы жизни начинающего литератора, прошедшего через каторжный журналистский труд и порой, как Куприн в молодости, не имевшего денег на приличные сапоги. Горький совершил переворот в оплате авторского труда. Например, Андреев получил в «Знании» за свой первый сборник рассказов вместо 300 рублей, предложенных другим издателем, свыше пяти с половиной тысяч — сумасшедшие по тем временам деньги!

Впервые в истории русского книгоиздательского дела «Знание» обеспечило авторам гонорары от иностранных издательств, которые до этого печатали переведенные русские книги бесплатно. В декабре 1905 года Горький открыл свое издательство за границей. Полное название его звучало так: «Книгоиздательство русских авторов И. Ладыжникова, главного представителя в Германии и везде за границей Максима Горького, Леонида Андреева, Евгения Чирикова, С. Юшкевича, А. Куприна, Скитальца». В самом названии чувствовался столь дорогой для Горького «коллективный» принцип.

Этот принцип сыграл решающую роль в триумфе затеянных Горьким периодических альманахов — «Сборников товарищества “Знание”». Они начали выходить с 1904 года и сразу же стали невероятно популярными. Тираж первого сборника был 33 000 экземпляров, второго — уже 81 000. Это при том, что Россия тогда была страной с большинством неграмотного населения и подобные тиражи считались просто космическими!

Но этот же «коллективный» принцип стал одной из главных причин распада «Знания». Встав на ноги, приобретя известность, писатели-реалисты уже не хотели выглядеть «подмаксимками», они стремились к полной независимости. Коллективистский подход Горького шел вразрез с неизбежным писательским индивидуализмом.

Взбунтовался даже самый близкий друг Горького Леонид Андреев. С 1906 года, после поражения первой революции, Горький поневоле живет вдали от родины, в эмиграции, в Италии. В это время в качестве редактора его замещает Андреев. Неожиданно он требует обновления состава сборников, в частности, привлечения символистов (прежде всего Блока). Андреев выдвигает широкий принцип отбора: «помещать только то, что ведет к освобождению человека». Горький же в письмах требует отбора более жесткого, по сути, социал-демократического (в 1905 году он стал членом партии большевиков). К символистам, в том числе к Блоку, Горький в это время непримирим — не может простить упаднических настроений после разгрома революции. Он пишет: «быть декадентом — стыдно, так же стыдно, как болеть сифилисом».

В результате между Горьким и Андреевым произошел громкий разрыв. Но из «Знания» ушел не один Андреев. Его покинули почти все видные «знаньевцы»: Бунин, Куприн, Вересаев, Серафимович и многие другие. Остались только верные горьковской линии Телешов и Гусев-Оренбургский. И хотя альманахи выходили вплоть до 1913 года, прежнего успеха они уже никогда не имели; и сам Горький скоро к ним охладел.

«Мать»

От ницшеанских увлечений Горький пришел к идее «коллективного разума», способного, как он считал, интегрировать человечество, возвысить его, дать ему смысл существования в «религиозном, весь мир связующем значении труда». Торжество «коллективного разума» он нашел в идее социализма — самой популярной социально-политической концепции того времени. Однако социализм Горького был тесно связан с его романтической философией Человека, с его пониманием трагедии Человека как центра мироздания, который страшно одинок во Вселенной и которому ничто не поможет, кроме него самого. В социализме Горького проступали своеобразные религиозные черты.

Новый этап обозначила повесть «Мать» (1906–1907). В ней впервые возникает тема «богостроительства» (по мнению некоторых зарубежных ученых, «богостроительские» тенденции появились уже в пьесе «На дне»). По словам исследователя, Горький пытается спасти религиозное чувство народа от вредного влияния церкви и вернуть его русским людям. Логика богостроительства, в общем, проста. «Бог умер» (Ницше), но его необходимо возродить или «построить», опираясь на волю и разум народа. Надо внести в обезбоженный мир человеческий смысл, восполнив страшный «провал», где «со смертью Бога» обозначилась «пустота», или Ничто.

Бог — это коллектив («Мать») или — шире — народ (повесть «Исповедь», 1908), объединенные разумной волей и верой в «дальнее» торжество Человека.

Отсюда совсем иные задачи искусства, хотя слово «соцреализм» еще не названо. В глазах Горького искусство как бы утрачивает светский характер и вновь возвращается в специфически церковное русло, только «церковью» теперь становится революционная партия. Горький понимал, что «Мать» — не самое сильное его произведение, но оправдывал его тем, что оно «нужно», «полезно» для революции и социализма.

В повести «Мать» возникает тема «истинного христианства». Павел Власов и «товарищи» — «истинные» ученики Христа, пришедшие взамен мнимых. Это в конце концов понимает глубоко верующая в Христа Пелагея Ниловна. Во многом это и сближает мать с «детьми» и приводит к согласию с революцией.

Тема России

В середине прошлого века Ф. Тютчев вместо проблемы «Россия и Революция» предложил антитезу «Россия или Революция». Так именно понял Чаадаев смысл тютчевского трактата «Россия и Революция», написанного в связи с европейскими волнениями 1848 года.

«Как Вы очень правильно заметили, – писал он Тютчеву, – борьба, в самом деле, идет лишь между революцией и Россией: лучше невозможно охарактеризовать современный вопрос».

Одна из антитез публицистических и художественных выступлений Горького в период с 1905 по 1917 годы — тема революции и русского бунта. Еще во время первой русской революции (1905–1907), когда основы монархии впервые всерьез дрогнули, мечта о «коллективном разуме» в сознании Горького вступила в конфликт с ощущением возмущенной русской «почвы», на которой покоилась монархия и где предстояло осуществиться новому строю. В отличие от Горького, русский народ не был «социальным идеалистом». Семена «разумного, доброго, вечного», которые щедрой рукой сеяла русская интеллигенция, падали на малознакомую этой интеллигенции «почву». Когда «почва» наконец зашевелилась, в ней разом обнажились многочисленные трещины и изломы; и эти трещины даже отдаленно не напоминали логическую линию, какую представлял горьковский «социальный идеализм».

«Рабы! Рабы!» – кричит кто-то в конце очерка Горького «9 января». Это сердитый голос самого автора. В этом плане В. Короленко оказался мудрее неисправимого романтика Горького. Когда после Манифеста 17 октября 1905 года он столкнулся с проявлением массовой психологии, выразившимся в погромах в городах и «грабежах» в деревне, в письме к Н. Анненскому Короленко писал:

«Какая тут к черту республика! Выбатывать в народе привычки элементарной гражданственности и самоуправления — огромная работа, и надолго».

Эмоциональный фон горьковских выступлений 1905–1917 годов — осуждение, если не проклятие! Он осуждает интеллигенцию за незнание народной стихии, революционеров — за сектантство и раскол, выразившийся в междоусобной борьбе различных партий. Он осуждает народ за его нежелание понять интеллигенцию, за его косность и пассивность в вопросах общественной жизни. Он ищет возможную точку примирения этих сил и находит ее все в том же Человеке и его Разуме. Нужно, чтобы массами овладела вера в Человека и безграничные возможности Разума. Необходимо, чтобы интеллигенция осознала себя частью народного коллектива, выразительницей его чаяний. Одновременно в «Разрушении личности» и «Истории русской литературы» Горький писал, что русский интеллигент не знает народа, что «недостаток своих знаний он пытается скрыть яростной защитой их и — отсюда развивается сектантство, нетерпимость, фракционность».

Если единение состоится, тогда произойдет «чудо»: вспыхнет электрическая искра всеобщего «социального идеализма» на благо культурного строительства России. Жизнь станет «сказочно прекрасной»! Если же нет? Неистовый, раскольничий дух пронизывает горьковскую публицистику 1905–1917 годов (затем изданную отдельной книгой). Главный вопрос — о России, о русском национальном характере. В отношении Горького к этим вопросам отразились его «две души», как точно заметил Д. Мережковский. Его статья «Не святая Русь» о повести «Детство» имела подзаголовок «Религия Горького».

Мережковский обнаружил в повести «Детство» связь судьбы Горького с исторической трагедией России. Согласно Мережковскому, трагедия России заключена в том, что в ее национальной душе присутствуют два начала — западное и восточное. Западное начало он нашел в образе Дедушки; восточное — в образе Бабушки. Мережковский нарочно обозначил этих героев автобиографической повести Горького с большой буквы, подчеркнув их символическое значение. По мнению Мережковского, «две души» России

генетически перешли к самому Горькому. В него равноправно влились два сознания — дедушкино и бабушкино. Поэтому сердцем любя Бабушку — смиренную и вольную, святую и еретицу, — он умом предпочел Дедушку, находя в нем воплощение практической воли.

«Бабушка делает Россию безмерною, — писал Мережковский; — Дедушка мерит ее, копит, “собирает”, может быть, в страшный кулак; но без него она развалилась бы, расплзлась бы, как опара из квашни. И вообще, если бы в России была одна Бабушка без Дедушки, то не печенеги, половцы, монголы, немцы, а своя родная тля заела бы живьем “Святую Русь”».

Эта мысль автора во многом подтверждается судьбой писателя. Не отсюда ли источник противоречия между Горьким-художником и Горьким-публицистом?

России он посвятил самые вдохновенные страницы прозы. Русь грешная, вольная, «окаянная» пленяла воображение писателя от «босаяцких» рассказов до цикла «По Руси» (1912–1917), повестей «Исповедь», «Лето» (1908–1909), «Городок Окуров» (1909), «Жизнь Матвея Кожемякина» (1910).

После поражения первой русской революции он на долгое время отходит от прямой политической борьбы и поселяется на Капри, поддерживая связь с внешним миром через многочисленных гостей: от Ленина до Л. Андреева. Это был один из самых плодотворных периодов творчества Горького, вплоть до его возвращения в Россию перед началом Первой мировой войны.

Поражение русской революции 1905–1907 годов тяжело отозвалось на восприятии Горьким современной русской действительности и, в частности, на его отношении к современной литературе. Он с тревогой наблюдал послереволюционное изменение «самого типа русского писателя».

«Не творчество писателя, а его личность была выдвинута на первый план. Сообщения о творческих замыслах уступили место пространным обсуждениям личного поведения литераторов; газеты развлекали обывателей хроникой происшествий, интервью, ответами “знаменитых” на многочисленные и часто пошлые анкеты».

«Несомненно, что даже и крупные литераторы находятся в сильном подчинении подленьким интересам все растущей уличной прессы и вольно или невольно служат ей, непоправимо компрометируя себя в глазах читателя-демократа — самого ценного читателя в стране», — писал Горький в статье «О современности».

Этой «литературе» он старается противопоставить «этический аристократизм» собственного творчества. В повестях «Лето», «Городок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина» Горький не оставляет попыток решить тему «Россия и революция», заявленную в публицистике 1905–1916. По мнению исследователя, повесть «Лето» «должна была дать исторически обоснованную догадку о том, что же теперь «думает» усмиренный силой русский мужик». Эта же тема отразилась и в «окуровском цикле». Автор пытается разобраться, почему революция в России неизменно оборачивается бунтом «бессмысленным и беспощадным», почему вековечное выяснение «обид» (мужика на барина, народа на интеллигенцию) не ведет к позитивному социальному результату.

Как художник и публицист, Горький этого времени во многом полемизирует с Буниным, с его темой «деревни». Главную опасность он видит не в деревенской, а в мещанской среде с ее патологической косностью и нежеланием проникаться новыми социальными идеями. В то же время изображение мещанской среды в творчестве Горького приобретает «летописный» характер, что позволяет дать исключительно подробную и внушительную панораму жизни уездной России.

В творчестве Горького этого периода особую роль играют лесковские традиции. Как и Н. Лесков, он изображает «не святую Русь» в ее органическом великолепии. Можно подумать, что эта бесконечная вереница характеров внутренне ничем не связана, что Горький — всего лишь очеркист или «бытовик», как он сам любил себя называть.

Это ошибка. Как художник, Горький «каприйского» периода исполнен высокой поэзии. Он, может быть, бессознательно протестовал против расхожего определения «бедная Россия», рисуя богатство нации в лицах.

«Чем знаменита, чем прекрасна нация? – писал русский мыслитель К.Н. Леонтьев. – Не одними железными дорогами, не всемирно-удобными учреждениями. Лучшее украшение нации — лица, богатые дарованием и самобытностью».

На первый взгляд, в это время «всечеловеческий» элемент в прозе писателя отступает перед «национальным». Тема России заботит его больше темы Человека. Но этот взгляд во многом обманчив. Национальные характеры интересуют Горького прежде всего как загадочные и порой непостижимые проявления человеческой индивидуальности. Человек как творение — вот что в первую очередь важно для него. Безусловно, в это время творчество Горького напрочь теряет абстрактный оттенок, который чувствовался в раннем творчестве и вызывал порой справедливые замечания Чехова, Толстого, Короленко, Михайловского. Но в целом внутренняя идеология творчества остается прежней: русские характеры волнуют Горького не только и не столько сами по себе, но как выражение (и положительное, и отрицательное) одной из граней всечеловеческого единства.

С этой точки зрения интересно также оценить драматургию Горького периода с 1907 по 1917 год («Последние», «Чудаки», «Встреча», «Васса Железнова» (первый вариант), «Фальшивая монета», «Зыковы», «Старик»). В отличие от ранних пьес (особенно драмы «На дне»), они не вызвали широкого интереса публики и критики. Тем не менее критика признавала, что пьесы не лишены «живого и современного интереса... как кусок, вырванный из нашей современной действительности, вырванный притом же рукою чуткого и мыслящего наблюдателя».

О действующих лицах «Чудаков» писали: «Что за дивная женщина Елена! Какой размашистый, безалаберный, одаренный и живой этот Мастаков, этот русский художник перекасти-поле...» Прежде всего внимание читателей и зрителей привлекала не столько идейная сторона пьес, как это было с ранней драматургией Горького (от «Мещан» и «На дне» до цикла пьес об интеллигенции и «Врагов»), сколько неповторимая галерея характеров, будто перешагнувших из жизни на сцену.

Легко заметить, при всей близости автора к изображаемым людям во взгляде его есть некоторая отстраненность художника от предмета описания. Образ «проходящего», возникающий в цикле «По Руси», как бы выступает посредником между автором и его персонажами; связывает их и в то же время разделяет. Даже взгляд мальчика Алеши на бабушку и дедушку в повести «Детство» не лишен отстраненности; он словно изучает и сравнивает их, что и позволило, например, Мережковскому оценить повесть не как автобиографию, но как символическую концепцию «не святой» Руси.

В своих английских лекциях русский князь, эмигрант Д. Мирский заметил, что автобиография Горького — одна из самых странных в мире. Особенность художественной манеры автора состоит в том, что он меньше всего занят собственной биографией и больше обращает внимание на окружающих его людей. Они-то и есть главные персонажи этой автобиографии, а образ мемуариста — только посредник между ними и писателем.

«Эта книга о чем угодно, кроме личности самого автора. Его личность — только предлог, чтобы дать удивительную галерею портретов. Самая выдающаяся черта Горького — поразительная убедительность описаний. Он весь обращается в зрение, и читатель видит, словно живые, яркие и цельные характеры... Автобиографический цикл неизменно производит на иностранца... впечатление безнадежного мрака и пессимизма, но мы, привыкшие к менее условному и сдержанному реализму, чем реализм Джорджа Элиота, не можем разделить этого чувства. Горький — не пессимист, а если пессимист, то его пессимизм не имеет никакого отношения к его думам о России, но, скорее, к его хаотической социальной философии. Как бы то ни было, автобиографический цикл Горького показывает мир уродливым, но не безнадежным — просвещение, красота и сострадание должны спасти человечество».

Все это позволяет отнести автобиографический и национальный циклы в творчестве Горького к его главной и сквозной теме: положение человека в мире, трагедия земного существования. Недаром именно в эти годы он создает рассказ «Рождение человека», открывающий цикл «По Руси», который серьезно выделяется на фоне собственно «национальной» темы и, несомненно, носит экзистенциальный характер. Вот родился не просто ребенок, родился Человек. Что ждет его в мире? Кем он станет и кем мог бы стать?

Тема ребенка, будущего Человека, неожиданно получает трагическое разрешение в рассказе «Страсти-мордасти» (цикл «По Руси»). Вспоминая о днях своей юности, когда он работал разносчиком баварского кваса и однажды познакомился с малолетним сыном больной проститутки, обезноженным мальчиком, Горький не может скрыть простой человеческой жалости и обиды на жестокий в отношении к ребенку мир. В то же время эта жалость ему самому, видимо, представлялась бессильной (не решающей проблем), и потому рассказ завершается на пессимистической ноте: «Я быстро пошел со двора, скрипя зубами, чтобы не зареветь».

Главный персонаж рассказа «Губин» захватывает воображение читателя странностью, неповторимостью своей личности. Однако сам автор достаточно суров в отношении к нему, о чем в конце концов прямо говорит (светит «светом гнилушки»). В рассказе «Нилушка» показан народный праведник. И показан настолько художественно выразительно, что нельзя не быть захваченным глубиной этого образа. Но сам автор (в отличие от Лескова, зато вполне в согласии с Буниным) не любит народных странников, юродивых и проч., которые, по его мнению, ослабляют в народе волю к жизни, отвлекают от борьбы за достойное существование.

Ему ближе еретики, а не праведники. Подобная «сшибка» художественного и публицистического элементов постоянно встречается в произведениях писателя 1905–1917 годов и наглядно свидетельствует о глубоком противоречии между Горьким-художником и Горьким-публицистом.

Горький-публицист смотрел на Россию строгим и часто осуждающим взглядом, ибо особенности русского национального характера плохо вписывались в идею «коллективного разума», который он принимает как единственный мировоззренческий догмат.

По мнению Горького, «русский человек всегда ищет хозяина, кто бы командовал им извне, а ежели он перерос это рабье стремление, так ищет хомута, который надевает себе изнутри на душу, стремясь опять-таки не дать свободы ни уму, ни сердцу».

Русский человек — прекрасный материал для художника (позже в «Заметках из дневника» Горький признает, что русский человек — это наиболее привлекательный материал для писателя), но для победы «коллективного разума» он едва ли не «вредное» явление — к такому крайнему выводу иногда приходит Горький в публицистике.

В декабре 1915 года в журнале «Летопись», возглавляемом писателем, появилась его статья «Две души», целиком посвященная теме русского национального характера.

«У нас, русских, две души, — писал он, — одна от кочевника-монгола, мечтателя, мистика, лентяя... а рядом с этой бессильной душой живет душа славянина, она может вспыхнуть красиво и ярко, но недолго горит, быстро угасая...» Восток погубит Россию, только Запад может ее спасти! Поэтому «нам нужно бороться с азиатскими настроениями в нашей психике, нам нужно лечиться от пессимизма, — он постыден для молодой нации...»

Статья прозвучала подобно разорвавшейся бомбе на фоне ура-патриотических настроений, связанных с войной. В редакцию «Летописи» полетели письма, некоторые из них содержали анонимные угрозы.

«К ним было приложение, — вспоминал К. Чуковский, — петля из тончайшей веревки. Такая тогда установилась среди черносотенцев мода — посылать “пораженцу” Горькому петлю, чтобы он мог удавиться. Некоторые петли были щедро намылены».

Пожалуй, лучше всех оценил статью Леонид Андреев. Он заметил, что тотальная критика русской души в устах Горького звучит слишком «по-русски», не имея ничего общего с западным типом самокритики.

«Не таков Запад, не таковы его речи, не таковы и поступки... Критика, но не самоплевание и не сектантское самосожжение, движение вперед, а не верчение волчком — вот его истинный образ».

В письме к И. Шмелеву он также заметил:

«Даже трудно понять, что это, откуда могло взяться. Всякое охаяние русского народа, всякую напраслину и самую глупую обывательскую клевету он принимает, как благою истину... нет, и писать о нем не могу без раздражения, строго воспрещенного докторами. Ну его к лысому. А бороться с ним все-таки необходимо...»

Революция и эмиграция

Как и большинство писателей, Горький с восторгом встретил Февральскую революцию и крайне настороженно отнесся к революции Октябрьской. В 1917 году он демонстративно покидает ряды партии большевиков. Дальнейшие события подтвердили опасения писателя. Свое неприятие революционного террора, развязанного большевиками, он выразил в цикле страстных публицистических статей, печатавшихся в газете «Новая жизнь» и затем объединенных в книге «Несвоевременные мысли» (1918).

С 1921 года Горький находится в вынужденной эмиграции — сначала в Праге и Берлине, а затем, вплоть до 1928 года — в Сорренто (Италия).

Это время в жизни писателя отмечено снижением его политической активности и концентрацией внимания на вопросах творческих. В эмиграции написаны «Рассказы 1922–1924 гг.», повесть «Дело Артамоновых» (1924–1925), начато последнее итоговое произведение — эпопея «Жизнь Клима Самгина».

Горький неожиданно для многих начинает новые поиски себя как писателя. В письме к М. Пришвину он даже признается, что только теперь по-настоящему учится писать. Это, конечно, сильное преувеличение. Но в прозе Горького действительно появляются новые черты. Например, он начинает экспериментировать в области короткой художественной формы, стремясь к максимальной выразительности на минимальном словесном пространстве. Так возникают «Заметки из дневника», названные критиком и литературоведом В. Шкловским «литературой будущего». Составленная из коротких фрагментов-воспоминаний, своего рода мемуарного «сора», не пригодившегося для других произведений, эта книга представляет собой поразительный по живописности срез русской жизни — странной, загадочной, невообразимой...

Конец Горького

В 1928 году, в связи с празднованием своего 60-летия, Горький впервые после отъезда в эмиграцию приехал в СССР. Его встречали на Белорусском вокзале восторженные толпы людей; но среди них было и немало «людей в штатском» — работников сталинских секретных органов. Народ искренно приветствовал возвращение большого русского писателя; но помпезность самой встречи была, конечно, организована Сталиным. Он нуждался в Горьком, имел на него свои виды.

Это было началом нового, последнего периода сложной и запутанной биографии Горького, которая и сейчас остается загадкой для исследователей. Горький не просто вернулся в Россию, как, например, Куприн. Он вернулся, чтобы стать одним из главных идеологов советской власти, оправдать своим мировым именем многочисленные преступления сталинского режима, но одновременно и спасти многих людей, вытаскивая их из тюрем и лагерей, помочь молодым талантливым писателям.

Но была более глубокая причина — логика гуманизма. Она вела Горького от раннего философского романтизма, через «Две души» и книгу «О русском крестьянстве» (1922),

к печально знаменитому сборнику о Беломорско-Балтийском канале им. И.В. Сталина и к тому крушению, что он потерпел под конец жизни.

Какая связь? По мнению Горького-гуманиста, «фантастически талантливой» русской нации необходим внешний «рычаг», способный сдвинуть ее с мертвой точки. Одним из таких «рычагов» была личность Петра I, которого Горький высоко ценил. Новый толчок России могла дать интеллигенция — «создание Петрово».

Не без колебаний Горький поставил на интеллигенцию. Особенно — революционную. И особенно — на большевиков, этих наиболее последовательных сторонников активного отношения к жизни. В первой редакции очерка о Ленине он даже провел параллель между Петром Великим и вождем пролетариата. Ленин, как и Петр, «разбудил Россию, и теперь она не заснет».

Но безграничная вера Горького в торжество коллективного разума, принятая как единственный догмат, несла в себе серьезное противоречие, ибо жизнь развивалась совсем по другим законам. Настоящей катастрофой для Горького оказалась Первая мировая война, этот вопиющий пример коллективного безумия, когда святое имя Человек было низведено до «окопной вши», «пушечного мяса», когда толпа зверела на глазах, когда наконец разум человеческий показал полное бессилие перед событиями. В стихотворении Горького 1914 года есть строки:

Как же мы потом жить будем?
Что нам этот ужас принесет?
Что теперь от ненависти к людям
Душу мою спасет?

Революция подтвердила худшие опасения писателя. В отличие от Блока, он услышал в революционной буре не «музыку», а страшный рев разбухшей стомиллионной народной стихии, вырвавшейся наружу через все социальные запреты и грозившей потопить жалкие островки культуры («Несвоевременные мысли»).

Ставка на интеллигенцию провалилась. Он сам оказался буфером между двумя ее лагерями: представителями большевиков, с одной стороны, и старой интеллигенцией, с другой, — не способный обуздать одних и до конца слиться со вторыми.

«Он вышел из низов, но вовсе не из рабочего класса и в данный момент скорее связан с цеховой интеллигенцией, нежели с рабочим классом. Горький не примыкает, в сущности, ни к одной из существующих внутри интеллигенции группировок. Это обрекает его на сугубое одиночество», — писал в 1918 году в довольно злобной книге о Горьком некто под псевдонимом Эрде.

Народ, по мнению Горького, сполна показал себя во время Гражданской войны с ее кровавыми ужасами. В книге о «Русском крестьянстве» раздраженный Горький писал: «Жестокость форм революции я объясняю исключительной жестокостью русского народа». Книга вышла в Берлине и привлекла внимание западного читателя. «Бей своих, чтоб чужие боялись!» Между прочим, в ней было немало горьких наблюдений над отрицательными сторонами русского характера. Но все-таки симптоматичен провал социального чутья писателя, попытавшегося свалить все грехи на счет одного крестьянства в виду уже совершенных, но еще более готовящихся репрессий против этого сословия.

Что же оставалось?

Оставалось два пути: либо поверить в какую-то третью силу, способную вывести страну из тупика, либо оказаться, говоря словами самого Горького, «в пустыне неверия». Горький-художник выбирает скорее второй путь. Как бы ни пытались в свое время привязывать его последнюю незавершенную повесть — «Жизнь Клима Самгина» к «критическому» или «социалистическому» реализму, это произведение было и остается вещью с отчетливо выраженной экзистенциальной темой — темой судьбы и положения человека в мире.

Но Горький-публицист и Горький-государственник поступает иначе. Как ни странно, но ответ на вопрос, почему все-таки Горький пытался поверить в Сталина, мы найдем в наиболее реабилитирующей его книге — «Несвоевременные мысли». В начале ее, протеста против отправки на русско-германский фронт сотен тысяч людей, Горький пишет:

«Представьте себе на минуту, что в мире живут разумные люди... представьте, например, что нам, русским, нужно, в интересах развития нашей промышленности, прорыть Риго-Херсонский канал — дело, о котором мечтал еще Петр Великий. И вот, вместо того, чтобы посылать на убой миллионы людей, мы посылаем часть их на эту работу, нужную стране, всему ее народу».

Третья сила, способная сделать это, вскоре объявилась. Сталин! Известно, что Сталин читал «Несвоевременные мысли». Он знал, что делал, когда благословлял Горького с группой в поездку на строительство канала своего имени, столь нужного стране, ее народу!

Здесь логика гуманизма, раз и навсегда принятая, работала неотвратимо. Раз народ не желает слушать внушения Разума, надо проявить Волю. Раз страна не хочет добровольно двигаться к социализму, надо заставить ее сделать это. Надо применить такой «рычаг», какой и в страшном сне не мог привидеться гуманисту Горькому прежде.

Горький скончался 18 июня 1936 года в Горках под Москвой. Урна с его прахом захоронена в Кремлевской стене.

Конец Горького был трагичен, и многое в обстоятельствах его смерти неясно до сих пор. Судить Горького, поправлять его — дело нехитрое. Гораздо труднее понять подлинный масштаб этой личности, а заодно и оценить великое мужество человека, который, разумеется, не мог не знать о трагизме своего положения, но ни разу не свернул с дороги, не спрятался, оставаясь всю жизнь центральной фигурой своей эпохи.

О своей будущей судьбе Горький догадался очень рано. Еще в 1899 году в письме к Чехову он сравнил себя с паровозом, который мчится в неизвестность:

«Но рельс подо мной нет... и впереди ждет меня крушение. Момент, когда я заруюсь носом в землю — еще не близок, да если б он хоть завтра наступил, мне все равно, я ничего не боюсь и ни на что не жалуюсь».